



СОЛЯНКА

Резкий звонок, как пушечный выстрел разорвался в голове. Туман и сон быстро рассеялись. Надо было быстро и по-солдатски встать, завернуть ноги в портянки и надеть сапоги, заправить брюки, натянуть мундир и застегнуть его на все пуговицы, умыться, причесаться и бежать вниз в домовую церковь, где через пять минут начиналась утренняя молитва. На улице сильный мороз, в помещениях Семинарии прохладно, и вместо зарядки надо с силою творить поклоны, чтобы согреться.

Николай занял место, отведенное ему духовником и строгим наставником отцом Василием Аракиным. Ряды семинаристов ровные, пар поднимается из горячих ртов замерзших бурсаков. Четыре печи, затопленные за два часа до молитвы, не могут согреть огромную и холодную домовую церковь. Чередной иерей и преподаватель, недавно окончивший Академию, возглавляет службу. «Благословен Бог наш», – возглашает он начало, и все размашисто и правильно осеняют себя крестом, стараясь коснуться лба, живота, правого и затем левого плеча и только потом поклониться Богу. За «неправильный» крест можно получить «наряд вне очереди» – поставят на колени на горох или до боли отдерут за уши. Отец Василий любил говорить: «Любовь строга, не мякотела и бьет негодника за дело». Это семинаристы запомнили на всю жизнь. Но молитвы они знали твердо, дисциплина была исправная. Больше половины бурсаков жило на казенном коште – это для бедных семей было единственным способом дать детям хорошее образование. Поэтому приходилось терпеть казарменную жизнь, строгую дисциплину и бурсацкую дедовщину – это вырабатывало в воспитанниках такую крепость, что они легко осваивали жизнь на свободе.

Николай был лучшим учеником первого класса семинарии и в свои семнадцать лет был аккуратен, на редкость трудолюбив и послушен. Строгая мать крепко держала его в своих руках. Она была властной вдовой женщиной, всю свою любовь отдававшей сыну. Отец умер два года назад, и все, что жена отдавала ему, она теперь дарила сыну, всю себя целиком. Даже за стенами семинарии Николай чувствовал ее сильную, захлестывающую его целиком, неумную энергию. Он старался изо всех сил, желая не подвести мать и рано умершего отца. Он хотел, чтобы мать всегда была им довольна.

Этот день начинался затемно, шел Великий Пост. После утренней молитвы и завтрака начинались уроки, и поочередно приходили преподаватели русской словесности и греческого языка, священной истории и Нового Завета. Не все было интересно, и не все интересно преподносилось учителями. Некоторых преподавателей боялись из-за их тяжелого характера. Но учиться было нужно для будущего. Семинария открывала двери для поступления в высшее учебное заведение. В семинариста с детства вбивалось: «Делай только так, а

не иначе» или «Не думай, почему ты это делаешь, но делай, не сомневаясь». И только малая часть, пришедшая в семинарию по призванию, с любовью и пониманием осваивала знания, складывая их в сокровищницу памяти будущего пастыря Церкви. Мало кто из семинаристов в будущем примет священный сан. Что-то неповоротливое и злое надвигалось на Россию. Какое будущее их ожидало? Преподаватели, за редким исключением, ограничивались рамками предмета, почти никто не говорил о миссионерстве и борьбе за будущее русских людей, о борьбе с идеями нигилизма и революции, бродившими по России. В русских семинариях часто учились сами будущие нигилисты и будущие революционеры. «*Но нельзя остановить махину жизни. Все идет как по писанному*», – так думало большинство. Делай то дело хорошо, на которое поставлен, и не задумывайся о большем – оно не в твоей власти. Эта спасительная философия помогала выжить, но она не могла зажечь светом истины других людей.

Изучая латынь, Николай запомнил древнее латинское утверждение: «*Stat sua cuique dies - Каждому назначен свой день*». И с тех пор тайком от начальства они с братом Александром баловались табачком, уверенно сознавая, что все в их жизни предопределено, и табак не сократит ее сроки.

Инспектор семинарии игумен Феофилакт Благодатнов, худощавый аскет с желтым уставшим лицом и зелеными глазами, внимательно наблюдавший за учащимися, нередко сетовал ректору отцу архимандриту Кириллу, что мало будет с них толку, сан и монашество примут единицы; что хотя молитвы и догматы они вызубривают, но веруют слабо и, чуть выйдут за порог семинарии, ведут себя как разбойники.

– *Что же делать, дорогой отец Феофилакт?* – распевно и меланхолично протягивал как молитву архимандрит. – *Время такое, посмотрите, что творится в миру: нигилисты-террористы убивают губернаторов и городских, в газетах пишут Бог знает что, а брак, священный брак, – и он поднимал кверху палец, – потерял всякое к себе уважение, пренебрегают узами, и блуд повсеместно распространяется.*

– *А не кажется ли Вам, отче, – резко и отрывисто подхватывал Феофилакт, – что так долго это продолжаться не может, и скоро грядет гнев Божий?*

– *Да, да, да, отец игумен, и я с ужасом этого ожидаю, но молчите, молчите, нельзя нам этого говорить, ведь это не наше дело. Этим занимаются, – и он опять поднял палец кверху и сделал паузу, – они – их Императорское величество, государь и помазанник Божий! А наше дело – преподавать, образовывать и готовить будущих пастырей и выжигать из сердец учеников мирскую и греховную заразу, если она в них поселяется.*

Последним уроком перед обедом была священная история. Преподаватель академик Огиевский Аким Иванович, грузный человек лет шестидесяти, громко стуча сапогами, которые блестели и сверкали, а брюки были выпущены поверх сапог, вошел в класс. Двадцать пар глаз напряженно смотрели на него. Он наизусть знал предмет и даже спросонья мог ответить, когда жил тот или иной иудейский царь, и в каком году и месяце произошел

Великий раскол в Церкви. Ученики боялись Огиевского, ибо в облике его было нечто звероподобное, и реакция его на неправильный ответ ученика была сродни рыку тигра или снежного барса. Он смачно сморкался и сплевывал прямо на пол, затирая плевки блестящими сапогами.

Огиевский не любил лентяев и учеников-неудачников, не умеющих дать правильного ответа. Гнев Огиевского на попавшую ему в руки жертву заставлял трепетать всех, и впечатление страха и ужаса перед «звероподобным» оставалось надолго. Но бывали моменты, когда он умилялся, голос его прерывался от внутреннего волнения, а глаза увлажнялись. Так бывало, когда он описывал последние дни жизни Иоанна Златоуста, благодарившего Бога за страдания, или когда восхищался подвигом царицы Александры, отказавшейся от порфиры ради смерти за Христа. В этот момент ученики сильно его любили и, казалось, переносились в то время и обстоятельства, о которых рассказывал академик.

Итак, шел Великий Пост, и ученики были страшно голодны, все с нетерпением ожидали обеда. По расписанию, в два часа пополудни в столовой их ожидало любимое великопостное блюдо – солянка. Из чего была приготовлена солянка, никто толком не знал, но это было что-то восхитительное, что-то бесподобное! Один из учеников, ничего не стоящий Саша Птицын, который, мало того что был одним из последних по успеваемости, был еще и «шестеркой», фискалом и тайным доносчиком, решил пообедать в столовой заранее. Он неожиданно поднял руку и стал отпрашиваться у преподавателя по надобности. Огиевский в это время устраивал взбучку одному из лентяев и махнул рукой Птицыну. До конца урока оставалось десять минут. Птицын в одну минуту вбежал в столовую, схватил блюдо с солянкой, рассчитанное на четырех его товарищей, и, захлебываясь и спеша, съел все до последней капли; затем он облегченно вздохнул и отправился на послеобеденную прогулку. *«Зачем я это сделал? – подумал он. – Ведь мне же и достанется. А., все равно, надоело жить в вечном притеснении и ненависти товарищей. Съел бы я их порцию или нет, все равно бы они меня отмутузили, если не за солянку, так за доносы».*

И он, блаженно жмурясь, смотрел на залитую зимним солнцем улицу и на сани с извозчиками, медленно поднимавшиеся в гору. Солнце в середине апреля начинало уже прогревать, и можно было, забившись в безветренный уголок, погреться и подремать.

Жизнь казалась ему пропащей. Отец погиб на японской войне, мать повторно вышла замуж, и отчим ненавидел Сашу. Он всякий раз давал ему понять, что терпеть его не может, и он должен уйти. Мать не имела сил и желания за него заступиться, она также ему говорила, чтобы отучившись он искал себе свое место в жизни. Семинария не нравилась ему, но выхода не было. Науки плохо давались Саше, и он стал заискивать перед начальством, выслуживаться и доносить. Как выдержит он еще пять лет Семинарии? Одному Богу было это известно.

А товарищи его недоумевали: внизу в столовой ожидало их пустое блюдо из-под солянки. Порядки в Семинарии были строгие, и добавки не полагалось, пришлось есть черный хлеб с солью, запивая его простой водой.

– *Ах ты, гад эдакий, цуда-предатель. Жди от нас представления,* – говорил товарищ Николай Федор. Чтобы не было доноса, надо было делать темную, то есть отомстить ему так, чтобы он никого не увидел. Нужна была темнота, и все с нетерпением ожидали покровы ночи.

Тем временем наступили ранние сумерки, учеба закончилась. После вечерней молитвы и скромного ужина прозвучал звонок отбоя. Семинаристы в полной темноте укладывались спать, но, как правило, никто спать не хотел: кто-то при свете свечи читал запрещенную книгу, кто-то «базарил» с товарищами, а кто-то готовился к потасовке.

В этот вечер игумен Феофилакт решил проверить порядок в спальнях комнатах и спустился с верхнего этажа, где находилась его келья, вниз. Феофилакт бесшумно продвигался по коридору, останавливаясь у дверей спален и прислушиваясь. Все было тихо. Когда же он дошел до спальни первого класса, то услышал сдержанный крик, визг и какие-то размеренные звуки, напоминавшие шум весла, плашмя ударяющего по воде. Он вбежал в спальню и увидел в темноте фигуры семинаристов, которые, покрыв Птицына одеялами, лупили его толстыми книгами.

– *Прекратить это безобразие!* – закричал Феофилакт, и фигуры тут же исчезли, а из-под одеял показалось вымученное лицо Птицына. – *Завтра же, завтра же напишешь мне и доложишь, кто это сделал,* – рубил слова Феофилакт, – *я этого так не оставлю, вылетите из семинарии, разбойнички. Забредут вас в солдаты, или пойдете канавы копать, не нужны нам такие священники.*

Позор, господи, где же ваша евангельская любовь к товарищу, – на увещание перешел и уменьшил громкость голоса Феофилакт. Он преподавал в семинарии Новый Завет.

Вдруг чей-то высокий голос фальцетом из угла спальни передразнил Феофилакту словами их духовника о.Василия: *«Любовь строга, не мягкотела и бьет негодника за дело».*

– *Это еще что такое?* – возмутился Феофилакт. – *Этого нет в Евангелии.*

– *Зато есть в Ветхом Завете,* – закричали ученики, – *«Кого любит Бог, того наказывает».*

– *Ах вы негодники,* – смягчился инспектор. – *Спите, спите, но товарища простите,* – ответил он в рифму.

И было непонятно товарищам Птицына, как совместить евангельскую мораль с ветхозаветной, и как все это поместить в жизни, которая так далеко отстоит от Слова Божия, как Земля отстоит от Неба...

* * *